

Алесь Адамович

**Венера,
или Как я был крепостником**



ОГИЗ

Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-94(476)
ББК 84(4Бей)я43
А28

Все права защищены.

*Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается*

*Фотография на обложке (Георгий Липскеров, РИА Новости)
предоставлена ФГУП МИА «Россия сегодня»*

Адамович, Алесь.

А28 Венера, или Как я был крепостником / Алесь Адамович. —
Москва : Издательство АСТ: ОГИЗ, 2024. — 224 с. — (История
в лицах и эпохах).

ISBN 978-5-17-151176-0

«Венера, или Как я был крепостником» — ранее не выходявшая в России повесть Алеся Адамовича. Впервые она была напечатана при жизни автора в журнале «Нёман» в 1992 году. Она перекликается с документальной книгой «Я из огненной деревни» (Адамович А., Брыль Я., Колесник В.), повествующей о бесчеловечности фашизма от лица тех, кто уцелел, кого не сожгли в хатах, амбарах, в церквях.

В «Венере» поднимается тема, которая не могла быть освещена в 1970-х гг., и только в годы перестройки, гласности, спустя 50 лет после войны, появилась возможность рассказать простую правду о ней. Это повесть про войну и деревню, в ней много автобиографичного, документального, которое органично входит, вплетается в художественный текст повествования.

Через исповедь безымянного героя раскрывается короткая жизнь Венеры Станкевич, показывается её трагедия, которая в основном повторяет судьбы сотен тысяч белорусов в Великой Отечественной войне и первые послевоенные годы.

УДК 821.161.1-94(476)

ББК 84(4Бей)я43

ISBN 978-5-17-151176-0

© Адамович А., наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024

С амо имя героини неслучайно: в кабинете Адамовича, перед его глазами, всегда находилась мраморная статуэтка Венеры Милосской — воплощение женской красоты, идеи гармонии между физическим и духовным в человеке.

В исповеди безымянного героя, в образе которого много автобиографического, авторского, разворачивается короткая жизнь Венеры Станкевич, показывается её трагедия, что в основном повторяет трагедию белорусов.

Повесть «Венера» — произведение-покаяние, где отражен процесс «расчёта с прошлым». Как ни странно, в трагической по колориту и настроению повести очень много юмора, специфически белорусского, когда неизвестно, над другими ли смеётся человек, или над собой самим.

*Михась Тычина, белорусский критик,
литературовед. 2015 г.*

А где погребена, в какой земле и какой был её удел — Венера, и кто считал, сколько их было. И кому счёт предъявлять?

*Алесь Адамович.
Записные книжки разных лет. 1992 г.*

Алесь Адамович

Венера, или Как я был крепостником

*Bella donna Russia! (прекрасная россиянка) —
воскликнул неаполитанец, увидев советских туристов
на подъёме к крепости Санта-Эльма. А я услышал свое:
Бело-руссия! Ты прекрасна, Беларусь, но отчего злые
ветры обязательно в твою сторону дуют?..*

Глава первая

— Хоть бы война какая! — прошептала-выкрикнула женщина. Казалось, что заплакала не от слов судьи («Пять лет лишения свободы без конфискации имущества»), а от собственных бессильных и страшных слов. Чтобы ещё больше было и как бы сама не веря, что это она говорит такое, повторила: — Хоть бы война...

Женщина-судья, не торопясь, собирает бумаги с колченогого стола, прикрытого кумачовой, в чернильных пятнах скатертью, прокурор Чайковский, полуотвернувшись от зала, усмехается, что-то объясняет мужчине начальственной упитанности, но все — и зал тоже: заводские бабы, сидящие на грубо сколоченных клуб-

ных скамейках, наши пацаны, которым и до суда есть дело, — все как бы ждут ещё чего-то. А всё уже кончено.

Особняком, испуганным птичьим рядочком сидят дети осуждённой — кажется, мальчик и четыре девочки: одежда на них такая, что различаешь с трудом. На всех взрослые женско-мужские обноски. Мать их, возле которой уже появился милиционер, одета в вытертую плюшевую жакетку с какими-то ржавыми пятнами или подпалинами. Она всё время поправляет выпадающие из-под рыжего платка волосы. Будто хватается за голову, вот-вот запричитает.

Но заметно, что и сама она всё ещё ждёт чего-то, будто приговор не прозвучал, и не она произнесла те страшные и окончательные слова.

На такие выездные, из Бобруйска, суды в нашем посёлке Глуша [в 25 км от Бобруйска, в нём Алесь Адамович встретил войну в 14 лет, там он и похоронен. — *Н. А.*] люди приходили в клуб совершенно так же, как на трофейные кинофильмы. Суды бывали даже чаще, чем кино. Можно было и привыкнуть. Но вот этот суд был особенный. Или мне так показалось? Потому что давно здесь не бывал? И потом: я ведь эту женщину знаю! А точнее, знал. Господи, так это же она, наша партизанская Венера! И в приговоре её фамилия называлась: «Станкевич Венера Антоновна», но сначала я как бы и не услышал.

Имя у неё вполне римское — у бабы с Полесья. Но тогда, в войну, нас это не удивляло: а как ещё может называться богиня? Наша общая партизанская любовь — Венера из деревни Вьюнищи.

Попробуй, узнай её в бабе, тощей, высохшей, как прошлогодний выклеванный воробьями подсолнух на

пустыре, с выводком испуганных детей, только что осужденной «за хищение социалистической собственности».

Сколько же лет минуло — семь? Да нет, если с первой встречи, — все десять. Но черты лица, и особенно ямочки, — росчерк во всю щёку — те же, я всё же узнал её. И всё равно поверить трудно: будто тёмный негатив знакомой фотографии. «Наша ласточка», — называл её старик Короткевич, когда мимо нас — отдыхающего во Вьюнищах взвода — проносилась девочка: тонкое личико с загадочно прикушенной губой, всегда как-то плечом от нас стыдливо развёрнута, будто отводит в сторону не по годам развитую высокую грудь, ноги, как у аистёнка, длинные. Коса за спиной толстая, как белое берёзовое полено. На груди или на плече — обязательный белый уголок косынки. И правда — как у ласточки. Краем глаза схватит тебя, как мошку, и унесёт твое дыхание, падающее сердце — куда-то ввысь. Вот так перед дождём ласточки чертят потемневшее небо.

Дом Станкевича был крайний от большака и самый заметный во Вьюнищах. Это был именно дом. Ни хатой, ни избой не назовёшь. Пятистенный, под жестяной крышей, окна большие с белыми фиранками, как у нас назывались занавески. И везде цветы. У Станкевича была и своя пасека, и коник, обыкновенный, даже невзрачный. (А какого он в лесу прятал, мы не знали.) Ну и корова, тёлка, свиньи, куры. Но дело даже не в этом, а как всё у него одно к одному клеилось, ладилось, и как он умел себя поставить перед всеми. Время-то какое: у кого винтовка, тот и главный. Особенно ночью и особенно в деревне. Всё остальное (то, что я перечислил, его хозяйство) человека не укрепляло, не поднимало, а ставило

в положение именно зависимое: с голого что возьмёшь, а такого прищемить каждому охота.

Но усатый дядька, Венеры отец, и ходил по улице, и смотрел, и здоровался так, что с невольным уважением-интересом оглянешься на него. А уж дома у него и подавно: ноги обязательно вытрешь у порога. Но не очень-то к нему мы заглядывали, рядовые партизаны. Вечно чей-то конь под седлом привязан к забору Станкевича. Какой-нибудь командир гостит. Крепкий мужик — Станкевич. Хитрован. Куркуль. Кулак. Слова эти, охотно произносимые, никак, впрочем, не подрывали наше к нему уважение. Прощалось ему многое, даже богатство — за дочку. Венера нас примиряла с любым неравным положением. Командир, разведчик, адъютант — кто-то красуется на красавце-коне, увешанный оружием, под смушковой шапкой-кубанкой, ну, ладно, зато Венера есть у всех у нас. Ничейная, а потому всем принадлежащая. Что ничейная — на это мы надеялись, но какими порой ревнивыми и недобрыми глазами следили за ней. Нет-нет, да и выскажет кто-нибудь общее наше опасение: «Все они такие, бабы! А слышали...» — про то, как видели её в седле у Митьки Косого из бригадной разведки. Но мы растерзаны готовы были того, кто высказывал наши же мысли-опасения. Чаще всего это Носов Николай. Лицо не то мальчишки, не то старой девы, безволосое, помятое. Может, оттого и желчный такой. От самого себя никакой радости человеку!

— Ишь, нашёлся женишок для нашей Венеры! Так и липнет к Станкевичу. Беги к своим недомеркам саратовским!

— Саратовские лузгают семечки и под парнем.

— Такие, значит, парни.

Вот так, и девкам, и парням — одной мерой. Но Носов не из тех, кого можно сообща, толокóй¹ бить. Это ему только азарта прибавляет.

— Белоруссия рóдная — бульба дрóбная, гнилая!

— Дрóбная, да всегда есть, а у тебя год густо — два пусто. Саратовские страдания!

Вот так его — аристократа. Потому что у нас «старые партизаны» — аристократия. А Носов Николай, пусть и «доброволец» (власовцами их, кто в 1941-м надел немецкий мундир, тогда ещё не называли), но в партизанах с весны 1942-го. За Венеру хлопцы кому хочешь нос откусят. Самому командиру или комиссару. Равенство так равенство. Мы в этом собаку съели, в равенстве. В нашем лагере на кухне висели котлы большие, общие — «для всех» и маленькие — специально для штабных. Мясной суп на завтрак закладывали повара-поварихи с ночи: воловье мясо прело, доходило над углями до рассвета, ну и ещё в небольшом котле жарилось специально для начальства, печёночка там разная — запах на весь лес. После случаев или слухов, что где-то немецкие агенты подсыпали в котёл партизанам отраву, возле котлов выставили специальный пост. Стоишь и напряжённо слушаешь, не крадётесь ли кто. Во, стучит в темноте ложкой по котелку — теперь не зевай. Ага, похоже, что это Цыбук, нет, Носов — вынырнул из ночи и прямо за алтарь прётся, в святая святых, к котлам. Черпака нет, но ему и не нужен, ручишей вкусные куски вылавливает, хорошо, если рукав телогрейки закатает. Печёночку — из котла поменьше, самого пахуче-

¹ Толокá (бел.) — совместная работа, взаимопомощь; группа людей. В тексте имеется в виду — сообща, вместе, группой.

го, штабного. Приятного аппетита, товарищи командиры! (Только после войны, когда приезжать стали на партизанские встречи, рассказал им про это — обиделись. Они, оказалось, о таком и помыслить не могли.)

У Носова подозрительная дружба с усатым Станкевичем, отцом нашей Венеры: не хочет ли таким способом обойти нас всех на повороте? Следим, глаз не спускаем, когда он повиснет на заборе, и о чём-то всё говорят, говорят: Носов на улице, куркуль в огороде. Меня подсылали: ты помоложе, пойдя, послушай. (При чём тут помоложе — постарше, когда послушать самому любопытно.) Оказывается, они — про сорта пшеницы и породы овец, да так увлечённо. Хлопцы даже разочарованы.

— А морды, морды у них, будто приданое обсуждают.

Смех и слёзы — что с нами эта девочка делала. Ладно мы, вчерашние школьники, но и Носов, Короткевич (вообще дед) — будто и забот других нет, как только из-за неё переживать.

Так что столь необычное имя — Венера — было очень даже кстати. Впрочем, для Полесья сразу и не скажешь, что обычно, а что не обычно. Вроде бы болото на каждом шагу, «главное болото Европы» (тыкал носом саратовец, если очень мы его доставали), а дубов таких и сосен в пять обхватов нигде больше не увидишь. И стариков да баб столетних (и плюс неизвестно, сколько ещё) — пощи таких, разве что на Кавказе. Впрочем, на это у Короткевича есть объяснение:

— А было так, приехали пионеры аж из Минска или откуда. Расскажи, дед, как ты жил, когда Наполеон тут проходил, как всё было. А он: когда случилась Великая Октябрьская революция... Нет, ты про шведов! Дед своё:

когда случилась эта революция... «Да мы это уже слышали». Наконец долгожитель прорвался: когда стряслась эта революция, был такой кавардак, что мне приписали лишние 70 лет в метрику...

— Вот кончим немца, — вдруг размечтается Носов, — товарищ Сталин колхозы побоку, приеду к Станкевичу, и будем горбатиться на пару. Бражку из мёда гнать, вас, нахлебников, угощать...

— Куркули, ишь, о чём мечтают! — Хлопцы шуток не понимают, когда на Венеру кто-то покушается. — А на Соловки не хотите?

Через Полесье когда-то путь проходил: из варяг в греки. Значит, и путь из греков к нам. А где греки, там итальянцы — боги и богини ихние в родстве состояли.

Вот такая родословная у нашей Венеры, а тут — какой-то саратовец! Смотреть смотри, никто не запрещает любоваться на нашу Венеру, но из ряда не вылазь.

А однажды чепе приключилось: кто-то полазил возле ульев Станкевича. Называется это: привязать пчёлку. Из патрона выламываешь пулю, горящую спичку к патрону, патрон к лазу — ш-шух! Душегубка для пчёл. Открывай крышку и, не опасаясь укусов, хозяйничай, как фашист. Но не может быть, чтобы это из нашего отряда. Наверняка какие-нибудь чужаки пошурудили. Носова поздравляли: во, как пощупали твоего тестя! А он даже доволен, радуется — чему только: поздравлениям или что Станкевича раскулачили? Такие истории нас всех почему-то забавляют. А, не нравится? Пришли, вернулись в лагерь ночью, в землянке спят покато, одному, второму со всего маху по заднице — вскакивает, как сумасшедший. А, не нравится?! В этом всё веселье: чтобы человеку не нравилось.

Начальство провело расследование, но попробуй, найди виновных. Носов обещал: ничего, мы с тестем найдём медоежек. В выдранном мёде пчёлки прячутся, вроде бы мёртвые, а в губу вопьётся, как девка пьяная, — рожу и разнесёт.

Сам Станкевич вряд ли настаивал на расследованиях, розысках. Себе дороже обойдётся — ссориться с ночными гостями, у которых оружие.

У меня с Богиней была одна-единственная встреча с глазу на глаз. При свидетелях я с нею и не сумел бы заговорить. А тут увидел через окно, что одна среди улицы — вышла с граблями прибрать разбросанное лошадьми сено. Там, где разведчики и командиры, соскочив с седла, небрежно бросают на забор-палисадник уздечку. Я швырнул на стол ложку, не облизав даже простоквашу. Дождёвая горячую, прямо из чугуна, бульбочку, выбежал за порог, не помню, поблагодарил ли хозяйку. Успеть, пока не опередил кто-либо из наших нахалов. Во рту пересохло, зато ладони почему-то взмокли — сейчас или никогда! Критическим взглядом ещё раз себя окинул, свой боевой арсенал: лимонка ремень оттягивает, через плечо патронная лента, как в кино носили. Винтовку надо вот так, стволом вниз, небрежнее.

Направил стопы свои к Богине. В прямом смысле стопы, давно не мытые, выглядывающие из растоптанных ботинок. Надо бы отдышаться, чтобы не так колотилось сердце, а лицо сделать, как у весельчаков-адъютантов: не годится для такого случая лицо угрюмого грабителя с большой дороги (подозреваю, что оно у меня именно таким и было — от решимости не струсить). На ходу

прокашлялся, уже и фразу приготовил: «Что, порядочек наводим?» — небрежную, будто каждое утро так вот встречаемся, беседуем. Заготовленную фразу свою не выговорил, а, видимо, прокричал за спиной у неё, потому что девушка аж вздрогнула:

— Ай, дядька, так и заикой можно сделать!

— А что, сегодня какой фэст, праздник у вас? (Вот и ещё одно слово, нами приручённое, можно сказать, прижитое с иностранцами: фэст, конечно, от фиесты.)

Я спешу выдать свою заготовку. Пока дух ещё во мне есть. А сам стараюсь не видеть высокую грудь, прикрытую белой кофточкой и всё той же ласточкой-косынкой; ямочки змейкой выются на щеках, пухлые и капризные по-детски губы. Леплю что попало:

— Сватов ждём?

Венера рассматривает несколько секунд откуда-то выскочившего пацана, обвешанного, чем попало, с интересом разглядывает — как ряженого. Я в отчаянье, я вижу, как она захлопнула меня, будто букварь, — давно прочитанный, известный до последней буквы и рисунка. И тут же со взрослым, лицемерным интересом задала вопрос:

— Ты, мальчик, из хоззвода?

Хорошо, что не поинтересовалась, чего так вспотел.

— Что, Митьки Косого конь тут был? — спросил я злобно.

А она засмеялась. Напомнил ей о ком-то более интересном, чем я сам. Гораздо более интересном.

— Натрусил своим конём, а чтобы убрать — где там!

И вдруг тучка набежала на её лицо. Совсем другим голосом произнесла:

— А если налетят немцы или бобики? Сразу видно, где партизаны днюют-ночуют. Вот и будет тогда фэст!

Собрала руками сено, которое подгрела.

— У вас книги есть? — спешу хоть чем-то заинтересовать. Не замечая, что делаю это совсем по-школьному.

— О, тата всегда привозил, если в город ездил. Я совсем ещё малая была. И плакаты такие красивые: про пчёлок, про поросят.

— А я принёс книги из дому: Пушкина, Байрона. Так курцы! Вернулся с одной операции — а от книг одни корешки.

— У нас даже Библию искурили. Пока тата спохватился, полкниги выдрали.

— Митька Косой? — Я её всё ещё не простил.

— Может он, может кто другой.

— А кто другой?..

Узнать не успел: появились на улице наши, вывалились из хаты напротив — я сделал вид, что мне срочно нужно к ним.

Прокурор, потребовавший для Венеры Станкевич пять лет лагерей за восемь колхозных бульбин, был хороший знакомый, нет, больше — друг моего отца [Михаил Иосифович Адамович, врач, подполковник медслужбы, 1902—1948. — *Н. А.*], нашего дома. Ещё с довоенных времён, когда работал директором совхоза. Появлялся у нас в аккуратном возке, жеребец у него, как зверь, — совсем не то, что мы привыкли видеть на колхозно-совхозном базаре. Первыми к нему выбегали мы с братом.

— Заберите вашей коровке, — рукой отделял, оставляя немножко клевера — конюшины себе, чтобы было

под зад. А матери [Анна Митрофановна Адамович, фармацевт, зав. аптеки, 1904–1979. — *Н. А.*] нашей общал:

— Хозяева у вас растут.

— Лентяи, — не соглашалась мама, — воды не допросишься привезти. Особенно этот.

«Этот» — это я. У старшего брата [Евгений Михайлович Адамович, врач, 1924–1992. — *Н. А.*] репутация иная, мне казалось, что и корова наша с большим уважением поворачивала морду, когда не я, а он подносил ей конюшину. (И теперь помню горькую слюну, прямо гонит из тебя, когда тащишь охапку, придерживая подбородком, носом, — до чего же всё это помнится!)

В день суда над Венерой прокурор Иван Фёдорович Чайковский по довоенной своей привычке захватил, заглянул к нам. Жили мы не в прежнем доме, а в двух задних комнатках аптеки. После партизан мама снова сделалась заведующей аптекой, а казённую квартиру, пока были в лесу, забрали, приспособили сначала под полицейскую караулку, а затем под больницу. И поскольку отец, уже подполковник медслужбы, тоже вернулся в свою больницу, отнять её у заведующего, то есть у самого себя, не мог. Решил строить собственный домик. (Так и не достроил, умер в [19]48-м. А я, помню, узнав про внезапное его желание иметь свой дом, удивился: да ведь скоро коммунизм!)

Война многое изменила, подправила в людских биографиях. Вот и Чайковский сделался прокурором. (Кажется, майором в армии был.) Его сипловатый голос и смешок, такой знакомый, поддёргивающийся, я услышал ещё валяясь в постели:

— Говорят, студент [В 1945—1950 гг. А. Адамович учился на филологическом факультете БГУ; 1950—1953 гг. — аспирантура. — *Н. А.*] ваш приехал? («Аспирант», — поправил я его мысленно.) А я вот явился баб судить. За бульбину — годик! Бьём, и плакать не даём.

И когда завтракали, за столом сидели, он то отца нашего вспоминал, то — несколько раз — эту бульбину:

— Пять лет за пяток картошек!

Глаза весёло-жёсткие, в них что-то такое, чего до войны в этом человеке не замечалось. Впрочем, я не знаю, какой он тогда был — с работниками совхоза. Известно только было, что хозяйство у него «крепкое».

Он ушёл в клуб, судить, я пока туда собирался — застал, услышал лишь приговор. Нашей партизанской Венере приговор.

Вот такие дела! — хочется повторить вслед за автором «Бойни номер пять». Такие вот пироги. Горячие, обожжёшься. У американского немца Курта Воннегута [(1922—2007) — американский писатель, сатирик. — *Н. А.*] вычитал я и ещё одну мысль, хоть убейте, но она и моя собственная: о прошлой войне как о крестовом походе детей. [Имеется в виду книга К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей (1969). — *Н. А.*] Она, к сожалению, использована, израсходована на американцев, воевавших в Европе. А как бы пригодилась для нашей партизанщины. Вот уж где дети так дети! А где дети, там и жестокость. Особенная, детская.

У нас даже командиры отрядов, бригад были в основном 22—23-летние. Во взводах — школьники, недавние школьники. Были и бородачи, «деды», но немного, как